

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ

ЗАТЕРЯННАЯ САТИРА ЩЕДРИНА

Предисловие А. Аросева

Примечания В. а. Гиплиуса

О ЩЕДРИНЕ

Жизнь и судьба русской интеллигенции в период царизма была очень своеобразной. Интеллигенция не класс, а группа, состоящая из выходцев главным образом двух классовых слоев: помещичьего и буржуазного.

По мере расширения и усложнения борьбы между этими слоями в процессе истории России в интеллигенции все большее и большее место начинали занимать выходцы из буржуазного слоя. Многие помещики превращались в капиталистов промышленного типа. Другие погибали под ударами внедрения капитализма в аграрное хозяйство.

Интеллигенция, выходящая из помещичьего слоя, гибнущего, разлагающегося, большей частью превращалась в правящую бюрократию (вследствие особой структуры самодержавия, предоставлявшего все привилегии дворянам). Интеллигенция буржуазная распадалась на две ветви: техническую интеллигенцию и людей так называемых либеральных профессий.

И та и другая часть буржуазной интеллигенции сознавала смутно свои классовые интересы. Они шли вразрез с интересами правящей бюрократии, а иногда становились в противоречие даже с самим существованием царского режима и монархии. От индивидуальных условий жизни и работы интеллигента нередко зависела степень его политической левизны.

На фоне этого общего явления были разумеется и отдельные выдающиеся случаи, когда степень левизны данного отдельного интеллигента определялась обстоятельствами, лежащими вне его повседневных бытовых условий.

Но так как вся буржуазная и мелкобуржуазная интеллигенция принуждена была изо дня в день сталкиваться с реакционностью и бессмысленностью царского режима, то некоторая степень протеста против него, а следовательно определенная степень политической левизны была обеспечена за каждым интеллигентом. Среди всей этой интеллигенции, которую принято называть «прогрессивной», царствовало настроенное молчаливого заговора против самодержавия. Почти каждый интеллигент, мало-мальски мыслящий и элементарно честный, вел в сущности двойную жизнь: официальную и подпольную. Официально он занимался делами, добивался карьеры, улучшал свой семейный быт, заботился о детях. А подпольно — присутствовал на неразрешенных собраниях, подтягивал «Дубинушку», спорил по самым недозволенным вопросам, писал газетные статьи эзоповским языком, укрывал у себя или у знакомых нелегальных, подсмеивался над невежеством городских всех чинов и рангов, сносился с революционными эмигрантами за границей, читал в рукописях недозволенные пьесы (вроде «Горя от ума» Грибоедова), или письма (вроде письма Белинского к Гоголю), или недозволенную прессу (вроде «Колокола» Герцена).

На протяжении десятков лет у этой интеллигенции выработались определенные навыки нелегальной жизни. Под носом у самодержавия в петербургских и московских

салонах большого и малого света создавался свой мир, мир интеллигентского подполья. В нем считалось безнравственным выдать нелегального, к какой бы партии они ни принадлежал, считалось прекрасным помочь арестованному, лишь бы он был «политический».

Дальше такой фронды создания и культивирования антиправительственных настроений «прогрессивная» интеллигенция не шла. Она слегка играла огнем и иногда вместо пушечных выстрелов (как делал это Пугачев, как делали это декабристы) оглушала и ослепляла на какой-то миг самодержавие фейерверками.

Это была подпольная протоплазма, в которой иногда циркулировали ядра самой настоящей революционной ценности. Как протоплазма, среда эта была мягка и не активна. Она была эфирным пространством, где вращаются активные светила.

Поэтому многие лучшие и талантливейшие представители этой среды были не более как наблюдателями, созерцателями и регистраторами внутреннего социального кипения, обострения и напряжения глухой классовой борьбы, подступающих верно и неизбежно подземных толчков, колеблющих всю социальную почву тогдашней России.

Созерцательными, пассивными были почти все русские публицисты.

Но и здесь есть счастливые исключения. Наиболее радикальные слои фрондирующей интеллигенции давали наименее созерцательных публицистов и наиболее активных революционеров.

Великолепным созерцательным аристократом ума был Герцен.

Блестящий пример активиста являет собой Н. Г. Чернышевский. Он не только «глаголом жег сердца людей», но и фактически работал как революционер, организовывал действительную борьбу с самодержавием.

К активному типу борьбы против царского режима относится и литературная деятельность Щедрина.

Не всегда все можно объяснить, когда мы говорим о человеке умственного труда или социальной борьбы, только биографическими обстоятельствами и положением социальной группы или класса, к которой он принадлежит. Откуда в самом деле у Щедрина его острый взгляд, различающий беспощадно все язвы царского режима?

Откуда у него такая сила ненависти к царским сатрапам и ко всему укладу тогдашней убогой жизни?

Большинство произведений Щедрина — это сатирические очерки. Каждый из них написан по какому-нибудь одному конкретному поводу или в связи с каким-нибудь отдельным явлением. Своим очерком Щедрин фиксирует внимание на данном конкретном случае. Пристально всматривается в открытые им язвы. Вкладывает туда пальцы как скептик. Убеждается еще крепче в том, что Россия покрыта ранами, что раны эти дал ей тот класс, который владел ею, ее полями, лесами, промыслами, промышленностью, — класс помещиков и капиталистов.

Наблюдение пристальное и внимательное над народными страданиями оттолкнуло Щедрина от интересов и мышления его класса. Весь литературно-творческий путь Щедрина — это все более и более решительный отход от его класса.

Разрыв со своим классом еще больше обострял зрение сатирика и делал сатиру его еще более ядовитой.

Он имел глаза, чтобы видеть по-настоящему, в какой тяжелой надругательской эксплуатации живет крестьянин и тот, кого тогда называли «мастеровой» и кого мы теперь называем «пролетарий».

Щедрин имел ухо, улавливающее стоны тех, кого порют, «гнут в бараний рог» и с кого «сдирают три шкуры». Его богатая практика служебно-административной деятельности давала обильный материал и оставляла глубокие впечатления в писателе.

Осмыслить то, что он видел и переживал, Щедрин мог только отдаляясь — и отдаляясь идейно и морально — от своего класса. Разрыв со средой, к которой он принадлежал по рождению, воспитанию и официальной деятельности, является характерным для жизни нашего сатирика и он-то и дал возможность Щедрину стать тем, чем он был.

Вслед за разрывом начинается величайшая трагедия.

М. Е. САЛТЫКОВ (Н. ПЕДРИН)

Фотография 1870 г.

Частное собрание, Москва



Не будем залезать в аналитические дебри, совершать экскурсии в историко-хозяйственную сферу и сдабривать свою статью политико-экономическим трактатом. Нужно только сказать, что капитализм в тогдашней России находился в недостаточно развернутой форме; пролетариат еще не выступал на политическую сцену как самостоятельный борец. Поэтому тем немногим революционным интеллигентам, которые рвали со своим классом, не к кому было уйти, не на кого опереться, не с кем идейно слиться. Не было еще великого социального движения пролетариата, куда можно и должно было вплесть свои усилия.

Поэтому силы одиночек-революционеров слагались вместе, составляли кружки, пестовали искусственно созданную в подполье революционную среду. Таких подпольных клубов-кружков в царской России было немало. До сих пор — кстати будет сказать, — на семнадцатом году после свержения царизма, никем еще не составлен список всех подпольных кружков и организаций, которые существовали со времен декабристов. Нет библиографии всей нелегальной литературы. Да она еще вся и не собрана. Собрать ее трудно, сделать список всем нелегальным объединениям еще труднее, потому что существовали они изолированно, иногда глубоко законспирированно, часто скоро сами собой распадались для того, чтобы в другом месте, в ином персональном составе снова возникнуть. Даже царское правительство при его возможностях (агентуре и провокаторстве) не всегда могло раскрыть действующих «злоумышленников». Известно например, что в 1856 г. на улицах Харькова была расклеена сатира-пародия на манифест царя о заключении мира. «Злоумышленники» оказались не найденными. Через год в том же Харькове была расклеена новая сатира «о благополучном разрешении от бремени императрицы Марии». И опять ни авторы, ни распространители этих «злых» документов обнаружены не были. Между тем это совершило тайное общество во главе с Завадским, оно начало существовать с 1856 г. Раскрыли его случайно, потому что при обыске у студента Завадского нашли записи об истории этого общества (см. «Сатира 60-х годов», изд. «Academia», стр. 377). В этом инциденте все характерно: и то, что это общество не было найдено (потому что действовало в благоприятной для него интеллигентской среде, как говорилось выше), и то, что это было такое общество, которое развивалось и разверты-

вало свою деятельность совершенно изолированно, само по себе (деятельность его, видно, поэтому имеет весьма слабое отражение в книгах по истории русского революционного движения).

Разумеется царское правительство делало все, чтобы не допустить слияния подобных сил. Этой предусмотрительностью и объясняется то, что Щедрин был сослан в Вятку в то время, когда он уже начал входить в среду петербургской полуподпольной интеллигенции.

Сослан, но оставлен в чиновниках. Не случайно и не по оплошности. Царские грязных дел людишки думали: не заест ли Салтыкова среда? Все-таки ежедневное воздействие мундира с высоким воротником может иметь влияние на молодого сумасброда.

Но получилось не то. С петербургского периода взгляд Щедрина был заострен так, что никакие мундиры его не ослепили.

Но трагедию для него обеспечили. Трагедию вследствие полного одиночества, враждебного непонимания окружающих. Трагедия Щедрина — это удесятенная трагедия Чацкого. Это «миллион терзаний». Это и «горе от ума», и горе от истинного понимания всего видимого Щедриным. Но этот миллион терзаний не принижает его энергии, не размагничивает ни воли, ни мысли Щедрина. Его горе аккумулирует его ненависть к строю, в котором он живет. Отсюда, именно из этой трагедии, рождается величайшая сила презрения и ненависти к классу, от которого Щедрин навсегда ушел.

Правда, здесь нужно оговориться. Физически Щедрин работал в среде своего класса: в молодости своей был чиновником особых поручений, позднее занимал высокие должности вице-губернатора в Рязани и Твери и председателя Казенной палаты тех же Рязани, Пензы и Тулы. Уже будучи зрелым писателем, накрепко связав себя с литературой революционной демократии, одним из крупнейших представителей которой он является, Щедрин вместе с тем физически в бытовом отношении не порывал окончательно личных связей с людьми своего класса. В этом смысле его положение было противоречивым. Но неизбежные компромиссы и слабости в личной жизни могут интересовать нас лишь в той мере, в какой они имеют отношение к силе и выразительности созданных им образов. Нас интересует классовое политическое содержание сатиры Щедрина, той сатиры, которой он навсегда связал себя с лагерем революции, решительно порвав тем самым с родной ему классовой средой.

Щедрин берет действительность, в которой он живет, и сопоставляет ее с его представлением о будущей действительности. При этом весьма замечательно, что будущая действительность представляется ему не смутной утопией, а «непременно имеющей быть», т. е. единственно возможной. Этим в сущности и выражена историческая необходимость, краеугольный камень научного социализма, хотя научным социалистом Щедрин конечно не был, да и не мог быть. Еще Плеханов говорил в споре с народниками, что нет ничего прекраснее, как сознавать, что борешься и приближаешь наступление того будущего, которое необходимо, неизбежно, а следовательно реально и сильно в своей реальности. И реальность эта, т. е. неизбежность, не только вдохновляет, но придает силы и уверенность тем, кто борется за такое будущее. Разве могли бы в самом деле наши революционные удары быть такими уверенными, если бы мы не могли сами себе научно доказать, что социализм есть историческая неизбежность? Если бы не могли этого доказать, как жалки и неуверенны были бы мы, как легко можно было бы сбить нас в сторону с нашего пути!..

Щедрин старался в тумане грядущих годов рассмотреть ту будущую действительность, которая единственно возможна.

Его герой Нагибин говорит (повесть «Противоречия»):

«Не сопоставляй я этих двух противоположностей (действительности сегодняшнего дня и действительности будущей.— А. А.), я был бы вполне счастлив: был бы или нелепым утопистом вроде новейших социалистов, или прижимистым консерваторм, во всяком случае я был бы доволен собой. Но... я не утопист, потому что утопию свою вывожу из исторического развития действительности... и

не консерватор... потому что не хочу застоя, а требую жизни, требую движения вперед» (Разрядка моя. — А. А.).

Значит Щедрин знал цену утопическим социалистам, значит Щедрин стремился свою «утопию», т. е. идеал, вывести из реального исторического развития. У него, как и у Чернышевского, не фантастический, а аналитический подход к жизни.

Поэтому сатира его не отвлеченна, а конкретна.

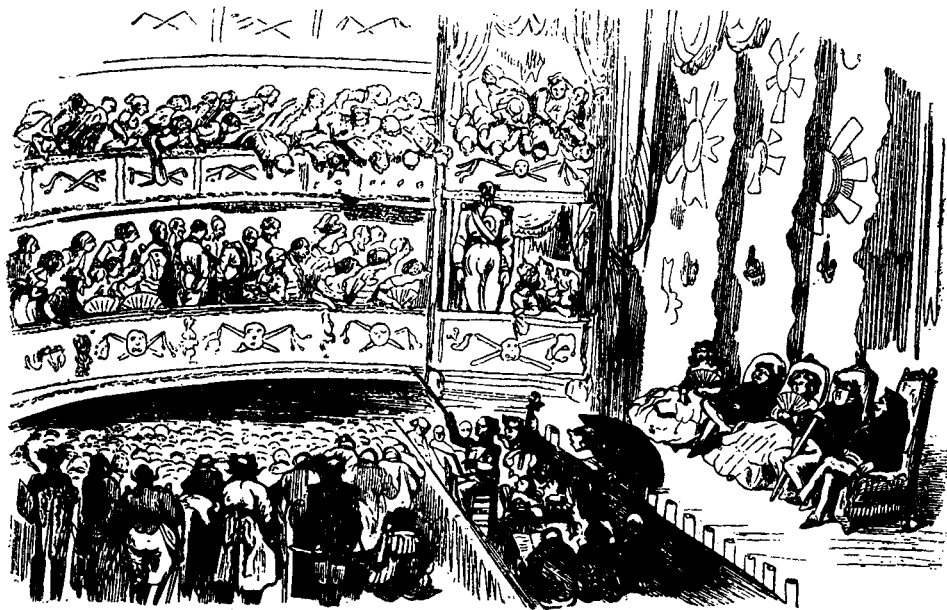
Нигде сатира не имеет такого значения, как у нас, и нигде она не была поставлена в худшие условия, чем у нас.

Материала для сатиры много, больше, чем где бы то ни было, а той свободы выражения мысли, которая существовала на Западе, у нас не было.

Даже в королевской Франции поощрялась мода на сатиру.

Сатира Вольтера например развивалась в значительно более благоприятных условиях. Тогда была пора такая, что поощрялся смех, в особенности смех над авторитетами, богами, властями, до известных пределов, конечно. Смех над религией и восхваление атеизма имели место, как известно, и при дворе короля. Французы позволяли себе роскошь — играть с огнем (хотя впрочем многие ли это сознавали?). Сатира Бомарше, Рабле, вся западноевропейская сатира развивалась в условиях сравнительно довольно свободных. Это давало возможность ей выработать свои приемы обращения с понятиями и свои формы изображения.

Наша сатира всегда конкретнее и значительнее западноевропейской потому, что наша сатира не созерцательна; она всегда призывала к движению. Всякая власть у нас считалась священной, смотреть на нее, хотя бы это был простой урядник, смеющимися глазами не дозволялось. Психология крепостничества проникала всю идейно-моральную жизнь тогдашнего русского общества. Сатира могла существовать только в на-



«ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ВЫСОЧАЙШЕМ ПРИСУТСТВИИ»
«Французские придворные актеры изумлены и довольны выпавшей на их долю ролью зрителей»

Карикатура из альбома Густава Дорэ «La Sainte Russie», Paris, 1854

дежде на непроходимое дуботолство цензурного ведомства и его подцензурных доносителей. Нашей сатире — куда уж тут высокие формы и изящество острот! — пришлось одеваться в защитный цвет так называемого «эзоповского» языка. Ни одна сатира мира не знала такой эластичности, такого иносказательства, как русская.

Понимание читателем иносказательства нашей сатиры было возможно только потому, что добрая половина читателей идейно составляла особый подпольный мир, где циркулировали свои понятия, ассоциации, сопоставления — вообще некоторые элементы своего особого языка. В такой среде был понятен язык сатирических намеков. Эта среда сама давала комментарии к сатирам.

Необходимость инако сказывать свои мысли часто забивала сатиру в угол самых незначительных тем или же до такой степени притупляла острие сатиры, что она превращалась либо в басню, либо в пустенькие анекдоты вроде тех, которыми заполняются чтецы-декламаторы для провинциальных талантов.

Один из лучших сатирических журналов того времени «Искра» дает нам образцы хороших вещей. Но однако и этот лучший сатирический журнал в большинстве своих статей, заметок, писем и пр. осторожно вращается только в кругу культурнических вопросов. И лишь когда обращает свои взоры за границу, на Европу, дает материал более существенный, касающийся непосредственно классовых столкновений на Западе.

Журнал в этом не всегда виноват, виновата тут часто цензурная опричнина.

Щедрин касался самых больных, самых современных, т. е. свежих, ран жизни. Его сатира как наиболее опасная была заключена хотя и в прозрачный, но на вид довольно толстый мундир иносказательства.

Порядки и обычаи царствования в двух столицах России не были характерны для самодержавия в такой степени, как нравы и обычаи царских сатрапов в провинции. Вот их-то и дает нам Салтыков. Дает в ужасающих подробностях, дает так, что они нам, в особенности, скажу опять, молодому поколению, кажутся карикатурами. Но это не карикатуры. Это подлинная реальность.

Сила Салтыкова и заключается в том, что он реалистичен. Но сам объект, даваемый в его произведениях, настолько уродлив — чиновники, обыватели, дворяне, вымогатели, взятчики, капитан-исправники и либералы, — что выглядит как карикатура.

Однако Салтыкову-Щедрину удалось избежать низведения своей сатиры к мелким вопросам, притупляющим ее острие. Эзоповский язык его не искажал сатиры, а наоборот делал ее выразительнее.

В этом отношении характерна «Похвала легкомыслию».

По какому поводу она написана? Трудно судить.

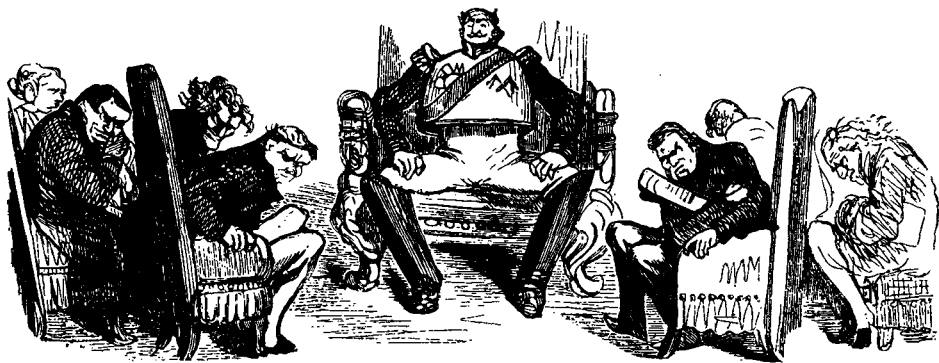
В начале нашей статьи мы говорили, что свои вещи Щедрин по большей части писал по какому-нибудь случаю или поводу, что поэтому сатира его весьма конкретна.

Но как раз «Похвала легкомыслию» является одной из менее частных. С этой точки зрения она принадлежит не к самым характерным для Щедрина вещам. Но зато она отличается широтой своего сатирического обобщения.

Способность Щедрина в сатирической форме генерализировать явления или их отдельные элементы настолько высока, что значение сатиры Щедрина пережило самого его и его эпоху и несомненно переживет нас. В своих произведениях Щедрин подымается до таких обобщений, что его мысли и наблюдения, его смех могут быть понятны где угодно в Европе и за океаном и через сто лет после нашего бытия на сей земле.

К такому виду произведений Щедрина и принадлежит «Похвала легкомыслию». Нам излишне ее излагать, читатель сам познакомится с ней. Но следует читателя предупредить: если он хочет получить действительное наслаждение от статьи Щедрина и достаточно хорошо ее понять, он должен прочесть ее по крайней мере дважды. Только при втором чтении отпадет яснее, чем при первом, скорлупа эзоповской манеры изложения. Статью Щедрина надо прочесть, а потом раскусить.

Чтобы понимать Щедрина, нужно помнить не только его манеру писать эзоповски (манера, как всем известно, вынужденная), но и его прием загнипотизировать чита-



НИКОЛАЙ I И ЕГО МИНИСТРЫ

Карикатура из альбома Густава Доре «La Sainte Russie», Paris, 1854

теля, заставить его, на минутку хотя бы, принять за чистую монету то, что сатирику служит прикрытием, заманить наивного читателя за собой и только потом фразировать его прозрачным намеком на истинный смысл сатиры. Так например, в сатире, даваемой здесь, Щедрин, чтобы читателя «сбить», заманить, сделать наивным, противопоставляет «легкомыслию» афинян тупоумие средних веков. Последняя часть утверждения о том, что в средние века царствовало тупоумие, довольно верная. Средние века — это трагедия человеческой истории. Н. К. Михайловский называл их провалом истории.

Это может сбить нетвердого читателя, он может подумать, что и вправду легкомыслие прекрасное качество, во всяком случае «творческое», как на том будто бы настаивает Щедрин. Прием Щедрина заманить читателя, опростоволосить его опять вызывает сравнение Щедрина с родственным ему по духу Чернышевским. Последний, как известно, брал белый лист, смотрел в него и делал вид, что читает. Ему удавалось обмануть слушателя.

Щедрину приходилось прибегать в своих сатирах к такому приему, чтобы уметь подать их читателю, заострить его интерес и внимание. Надо было, как сказали бы французы, *savoir servir* нашу сатиру для читателя. Это необходимо было для Щедрина и для всякого, кто стремился расширить круг своих читателей, расширить свою аудиторию, захватить в нее и неискушенных в острых наблюдениях над российской действительностью.

Эзоповским и заманивающим является и самое понятие — легкомыслие. Несомненно автор имеет в виду не легкомыслие в его истинном значении, а то бессмыслие и тупоумие, которые характерны для нашего российского средневековья, официально именуемого периодом Российской империи. Но сатирическое острие «Похвалы легкомыслию» заострено против российского либерализма, в данном контексте, в первую очередь, против дворянского либерализма, свободно переходившего в послереформенный период в откровенную реакцию и политическое приспособленчество. Щедрин издевается над русским либеральничеством, которое для себя изобретает какие-то системы мышления, где блаженствует, свободно укрываясь то от преследований, то от внутренних мук совести (если таковые случаются). Щедрин прямо страдал от либерального двоедушия, прекраснотушия и лицемерия, прикрываемых празднословием. Нельзя было злее высмеять существо дворянского либерализма, как отождествив его с той самой дворянской реакцией, от которой он на словах отмежевывается.

В истории непримиримой борьбы Щедрина с российским либерализмом всех цветов и оттенков «Похвала легкомыслию» занимает видное место.

А. Аросев

ПОХВАЛА ЛЕГКОМЫСЛИЮ¹

I

Я знаю, нас очень многие называют легкомысленными, и даже ставят нам это в укор. Что мы легкомысленны, против этого, кажется, возражать нечего; но чтобы в этом качестве заключалось что-нибудь предосудительное — это еще вопрос и притом крайне сомнительный.

По моему мнению, мыслить легко, значит, мыслить так, как в данную минуту мыслить удобнее. При сем: чем менее допускается стеснений со стороны мыслей предшествующих, тем больше представляется удобств для распоряджения мыслями текущими. Или, говоря точнее: истинное легкомыслие есть не что иное, как столь уважаемое нами свободомыслие, только очищенное от препон.

Не надо забывать, что внезапная мысль никогда не приходит одна, но дает начало целому ряду таких же внезапных мыслей, которые становятся рядом не потому, чтобы они чем-нибудь были связаны, а потому именно, что ничем не связаны. Когда таких мыслей накапливается достаточно, то обнаружится оплот, на который уже можно смело опираться в самых затруднительных обстоятельствах жизни. Все равно, как в математике минус, помноженный на минус, дает плюс, — так и в жизни: легкость, помноженная на легкость, всегда дает в результате нечто солидное. Если одна легкость не выручает, поправьте ее другою, другую — третьею, и поступайте таким образом, покуда не достигнете того, что на языке публицистов высшего полета называется «системою».

Как только вы добрались до системы, то можете смело сказать, что задача вашей жизни исполнена. Система тем хороша, что она представляет собой такую густую сеть всевозможных легкостей, в которой можно спрятаться, как в самом неприступном укреплении. Легкости конденсируются и приобретают все свойства метательных орудий. По временам, в «системе» чувствуется даже присутствие логики...

Когда нам говорят о каком-нибудь человеке, что он легкомыслен, то мы обыкновенно представляем себе, что у этого человека мысли бегают в голове, точно мыши в мышеловке. Нельзя не согласиться, что это сравнение довольно верно, однако, что же из этого следует? Из этого следует только то, что действительно, в голове легкомысленного человека мысли бегают, точно мыши, попавшиеся в мышеловку — и ничего больше. Затем нужно еще доказать, что это или непохвально, или неудобно, или несовместно, а доказать этого нельзя. Во-первых, это будет подвиг не популярный, во-вторых, человек, который предпримет его, непременно убедится, что существуют на свете такие твердыни, от которых самая строгая система доказательств отскакивает, как от стены горох. Гораздо благоразумнее поступит тот, кто примет на себя адвокатуру легкомыслия. Этот человек может заранее сказать себе, что труд его будет и популярен и оценен по достоинству.

Так я и поступаю.

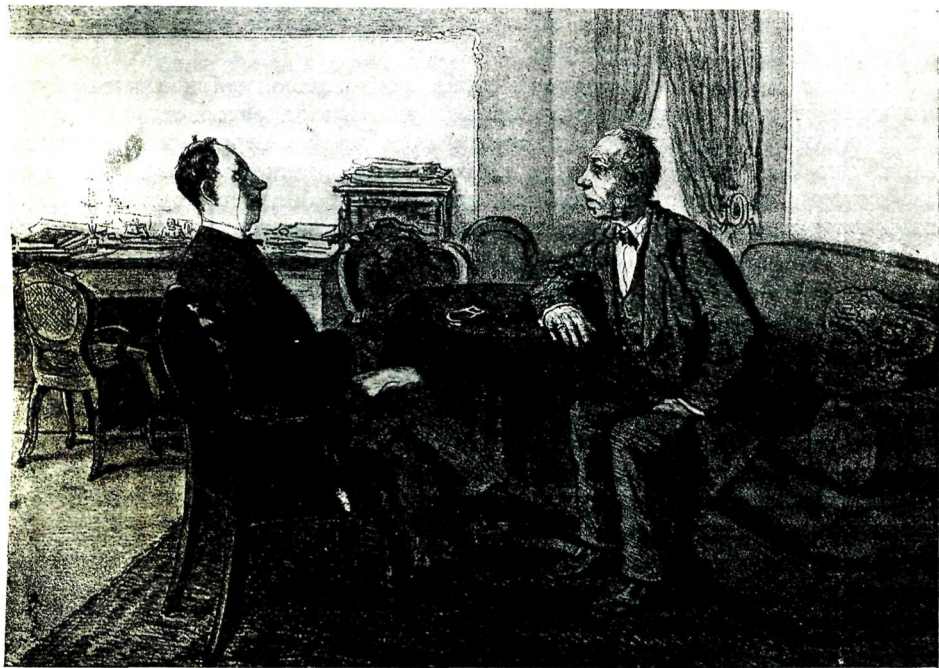
Начну с того, что легкомыслие, как творческая сила, было известно уже афинянам. В древности это уж было так заведено, что всякий народ чем-нибудь да славился. Персы славлись глупостью, македоняне — дипломатическим вероломством, жиды — проказою, спартанцы — непреодолимым ту-поумием и храбростью, афиняне — легкомыслием. Из всех этих народов, удел афинян был самый завидный. Вспомним, с какою легкостью они увольняли со службы вождей своих, как непринужденно они смеялись, когда их называли неблагодарными — и мы поймем, почему афинская цивилизация имела такое решительное влияние на цивилизацию позднейшую. Всё дело в том, что афинские мысли не залеживались, но беспрестанно обращались.

За всем тем, Афины пали², а потомки древних афинян продают в настоящее время в с.-петербургском гостином дворе айвицу и гречкое мыло. Почему же они пали? — а потому, милостивые государи, что они не умели быть легкомысленными до конца, что они никогда не достигали той полноты легкомыслия, при которой не остается ничего другого, как блаженствовать. Припомним, что у них были Периклы, Сократы, Демосфены и проч., и спросим себя: можно ли далеко плыть по океану цивилизации, имея такие камни на шее? На сколько дальше они могли бы уплыть, если бы вместо Перикла у них был И. И. Излер, вместо Сократа — Оскоченский, а вместо Демосфена — М. Н. Катков — это даже предугадать трудно.

Верьте, милостивые государи, что чем реже мы спотыкаемся на Сократов, тем удобопонятнее делается для нас бремя жизни. Чтобы стать выше упреков в ограниченности стремлений, нужно настолько расширить свои идеалы, чтобы они приняли вид расплывшегося во все стороны киселя. Когда получится возможность бродить в этом киселе и вкривь и вкось и вдоль и поперек, то вместе с тем получится и безграничная свобода действий, т. е. свобода вытаскивать из киселя именно те бирюльки, которые на потребу³. Шаг человеческий делается уверенным, мысль — легкою и свободною, щеки утратят способность краснеть. Зачем краснеть? в чем раскаиваться, когда в прошлом всё позабыто, а в будущем ничего не предвидится?

Как бы то ни было, но Афины пали. Наступили средние века, и струя легкомыслия едва не исчезла безвозвратно.

То были времена тягчайшего тупоумия, не лишённого, однако, изобретательности. Изобретены были порох и книгопечатание, открыт путь в Восточную Индию и сделаны были распоряжения об открытии Америки⁴. Из этого следует, что тупоумие не всегда бесполезно.



«АДВОКАТ БАЛАЛАЙКИН»

Литографированный рисунок А. Лебедева из альбома «Щедринские типы», издание «Стрекозы» 1880 г.

Но легкомыслие не изгибло, а только тлелось под пеплом. Если бы пределы настоящей статьи не стесняли меня, то я мог бы, даже сквозь хаос крестовых походов и пламя инквизиции, проследить непрерывную преемственность этого интересного явления до той минуты, когда афинское наследие попало в руки французов. Возведенное ими на высоту почти неприступную, легкомыслие угрожало уже смутить спокойствие целой Европы, как вдруг его постигла та же участь, что и в Афинах. Известны всякому печальные происшествия, едва не сввергшие в конце прошлого столетия Францию в бездну погибели, но очень мало кому известно, что происшествия эти были последствием не столько самого легкомыслия, сколько недостатка последовательности в нем.

Как ни тщательно лелеяли французы свое афинское наследие, они не могли облегчить себя настолько, чтобы вполне застраховать свое будущее от наплыва таких примесей, которые идут явно на перебой правильному развитию легкомыслия. Они освободились от многого, но не могли освободиться от одного: от уважения к уму и таланту. Это были для них своего рода Сократы, которых присутствие в истории уже служит явным признаком, что золотой век еще не наступил. Как ни старайтесь перебежать от одного предмета к другому, как ни усиливайтесь, чтобы минута последующая отнюдь не зависела от минуты предыдущей, но если при этом внимание ваше, хоть на мгновение, хоть невзначай, обо что-нибудь зацепится, вы непременно придете на край бездны. Конечно, работа всей жизни пошла на ветер, ибо одна зацепка приводит за собой другую, другая — третью и т. д., так что, вместо сети легкомыслия, вы вдруг очутитесь опутанным сетью зацепок и препон!

Истинное легкомыслие не таково. Оно не хочет знать никаких преткновений и ищет свободы от каких бы то ни было уз: при слове талант — оно разевает рот, при слове ум — блаженно гогочет. Представим себе, например, такое общество, историю которого, в сокращенном виде, можно было бы охарактеризовать следующим образом:

Период первый. Трудно и даже невозможно найти какие-нибудь типические черты, которые могли бы послужить к характеристике внутренней жизни общества (имя рек) в течение этого первого периода его существования. Это был какой-то хаос, в котором одно движение противодействовало другому, в котором все заботы, повидимому, были устремлены к тому, чтобы переделывать сделанное, подрывать предпринятое и сколь возможно тщательнее разбивать те звенья, которые связывают последующее с предыдущим и т. д.

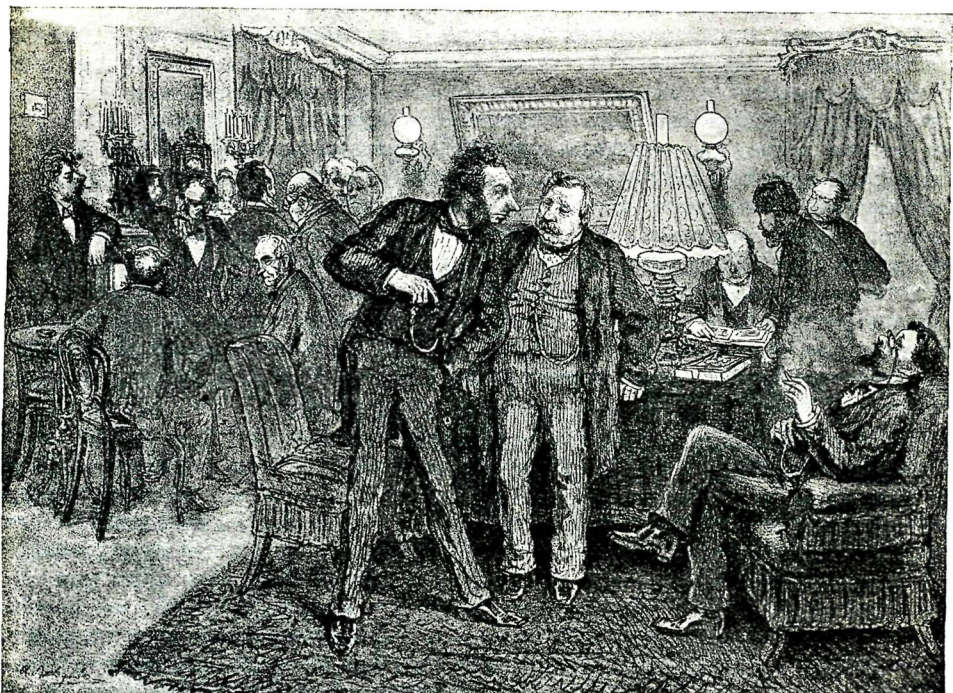
Период второй. Еще труднее найти какие-нибудь типические черты в этот второй период существования общества. Это был какой-то хаос, в котором и т. д.

Третий период. Гораздо труднее и т. д.

Вот счастливейшее из обществ! Вот общество, в котором, наверное, не найдется ни одного Сократа, и в котором можно горстями черпать Аскоченских! Это то идеально-легкомысленное общество, которое ни перед чем не станет втупик, ни обо что не зацепится!

Что если бы в таком обществе нечаянно появился Сократ! Как поступили бы с ним? Заставили ли бы выпить чашу с цикутой? навряд ли. Но что его засадили бы в кутузку, или в наиболее благоприятном случае сплили бы с кругу и сделали бы способным плясать в присядку — в этом не может, кажется, быть сомнения.

Но легкомыслие, как и всякое другое жизненное явление, имеет свои тезисы, которые оно защищает и которые составляют его философию (так



«В ГОСТЯХ У МЕНАНДРА»

Литографированный рисунок А. Лебедева из альбома «Щедринские типы», издания «Стрекозы» 1880 г.

и называется «философия легкомыслия»). Постараюсь рассмотреть некоторые из них.

Тезис первый формулируется так «сначала все уступи, дабы впоследствии всем пользоваться».

По уверению почитателей «Московских Ведомостей», честь изобретения этого тезиса принадлежит М. Н. Каткову. Он — дескать, в душе отъявленный нигилист, и ежели прикидывается благонамеренным, то для того, собственно, чтоб хорошенько заручиться, а потом, заручившись, нагрянуть. Когда в моем присутствии происходят эти объяснения, мне всегда приходит на мысль суворовское: заманивай его, братцы, заманивай!

А ну, как он не заманит! думалось мне:— ну, как он, заманивая да заманивая, сам хлопнется в овраг! Ведь девять лет издает М. Н. Катков свою газету и девять лет всё заманивает! Это тоже штука!

Но как бы то ни было, правы или неправы почитатели г. Каткова, снабжая его подобными намерениями, дело в том, что указанный выше тезис действительно существует в нашей жизни, и даже начинает проникать в печать в качестве руководящей истины.

Сколько я могу понять, слово «уступи» принимается здесь не столько в прямом его значении, сколько, так сказать, в сокровенном. «Уступи» — значит, не уступай, а только притворись, что уступаешь, или уступи что-нибудь такое, чему хотя и приписывается важность, но что в сущности составляет совершенную дрянь. Я знаю, что в сферах высшей публицистики подобный образ действия носит название «дипломатического», но так как на такую игру словами согласиться довольно трудно, то считаю себя в праве возвратить ему настоящее его название «легкомысленного».

В самом деле, чтобы вполне убедиться в легкомысленной сущности этого тезиса, стоит только начать с него самого, т. е. уступить, и принять

на веру его практическую необходимость и мудрость. Первое затруднение, с которым мы встретимся на этом пути, будет заключаться в том, что у нас не имеется достаточных данных, для определения слова «дрянь». Это понятие допускает такое бесконечное разнообразие определений, что чет ничего легче, как впасть в ошибку, и притом самого печального свойства. Есть дряни абсолютные, для всех видимые и доказанные, есть дряни относительные, имеющие смысл сокровенный и не для всех ясный. Какую из них следует уступить, или лучше сказать, какую из них следует пользоваться? Сверх того, есть много таких дряней, которые, несмотря на видимую свою дрянность, до того въедаются в жизнь, что делают ее почти невозможною. Обыкновенно эти дряни кажутся нам самыми ничтожными и легко допускаемыми, а на поверку выходит, что именно они-то и вагораживают выход из всех прочих дряней. Следует ли продолжать жуировать ими попрежнему?

Вот как трудно ориентироваться в мире дряней, и какой особой прозорливости требует правильная сортировка их. Но пойдем далее. «Поступиться дрянью» — не значит ли это сохранить именно то, что прежде всего подлежит устранению? Конечно, в мире физическом нам очень часто приходится встречаться с такими случаями, когда искусственным развитием какого-нибудь менее опасного недуга достигается искоренение или облегчение недуга более опасного; но не надо забывать, что мы ведем речь не о мире физическом, законы которого более или менее исследованы, но о дрянях мира нравственного, в котором всё до крайности неопределенно и спутано. Поступившись даже одним этим пресловутым правилом об уступках дряней, мы уже разом вступаем в такую безграничную область, по которой остается только бежать, сломя голову, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Дряни не только разнообразны, но и до неприличия цепки. Они налипают, одна за другою, с такой быстротой и последовательностью, что, заручившись однажды теорией об уступках, мы не успеем и оглянуться, как уже увидим себя до того навьюченными, что трудно даже и помыслить о возможности сбросить нахлынувший со всех сторон груз.

И вот, когда вся эта чушь облепит человека, — тогда «пользуйся». Чем же «пользуйся»? — да всем! Как же «всем», когда всё заранее уступлено, на всё заранее дано согласие и затем уж в запасе осталось только пустое место? Но в этом-то и заключается драгоценное свойство легкомыслия, что то, что кажется нелепым и невозможным перед судом здравого смысла, оказывается, в сообществе и при пособии легкомыслия, не только возможным, но даже и имеющим какие-то шансы на успех.

Оказывается, что мир легкомыслия точно так же неисчерпаем, как и мир дряней, что сколько ни уступай из него, всё будет полная чаша, а пустого места не будет. Оказывается, что, укоряя своего соседа в легкомыслии и непоследовательности, мы отнюдь не отступаемся этим от своего собственного права на легкомыслие и непоследовательность...

Как может выступить с либеральным словом человек, который за минуту перед тем гремел проповедью самого непроходимого обскурантизма? Как может говорить о свободе совести и мысли человек, который за минуту перед тем высказывался в пользу инквизиции и чуть ли даже не травли собаками? Всё это тайна российского легкомыслия, на языке которого обскурантизм и собачьи травли называются «уступками», делаемыми для того, чтобы «потом всем пользоваться»!

А между тем, такого рода мудрецов мы встречаем на каждом шагу, и дело у них идет как по маслу. Искусство, с которым эти люди из области рабомыслия делают непосредственный скачок в область свобод-

мыслия — это такой пример беспримесного легкомыслия, перед которым бледнеют все остальные разновидности этой категории. Далее может существовать только блаженство, то-есть такое нравственное положение человека, когда мысли и поступки человеческие сменяются одни другими с полнейшим забвением всякой последовательности.

Да; есть и такое положение. Как ни блажен удел человека, всё уступающего для того, чтобы всем воспользоваться, в нем все-таки есть известная доля горечи. Оно напоминает о коварстве, и хотя это коварство невинное, но невинность в этом случае свидетельствует лишь о тупоумии, а отнюдь не о чистоте намерений. Гораздо в лучшем положении находится легкомыслие легкое, которое никаких намерений не имеет, которое ничем не пользуется, но за то ничего и не уступает. Это легкомыслие, которое чуть-чуть канканирует и как будто приговаривает: «ты думаешь, что я что-нибудь замышляю! — ошибаешься, мой друг — это я так». Это «так» до того драгоценно, что, еслиб мы всегда умели держаться на высоте его, то, конечно, были бы счастливейшим и притом самым афинским народом в целом мире.

«Так»! да поймите же, сколько тут достолюбезного, непредвидимого, почти непостижимого! «Так» — погладил по голове; «так» — ковырнул масла; «так» — поправил меньшому брату челюсть; «так» — поднес рюмку водки. Всё — «так». И все эти «так» столь быстро сменяют один другого, и представляют такую нескончаемо-текущую реку, что как только окунешься в нее, то так и не взвидишь света от удовольствия! И не заметишь, что тут есть и пропасти и обрывы и вообще всякое летание стремглав. Всё гладко и ровно... система, да и только!

Сравнивая эти две школы легкомыслия, из которых одна говорит: «сначала всё уступи, а потом всем пользуйся», а другая вещает: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся» — я положительно, отдаю предпочтение последней⁵. Она проще и потому доступнее. Стоит только вести себя хорошо (не притворяться, а действительно хорошо себя вести) — и нечего будет уступать, потому что всё дастся. Что дастся? — ну, разумеется, не бог знает что, а по мере возможности. Тогда как с притворством... а ну как угадают это притворство? да надерут за это уши? да поставят в угол на колени? Боже!.. да мало ли есть наказаний, при одном воспоминании о которых легкомысленного человека прониимает дрожь!

Я знаю, что первая система легкомыслия почему-то пользуется репутацией дальновидности, а вторая по-просту зовется глупою, но я убедительно предостерегаю читателей против подобных оценок. Так как фактически может быть доказано, что обе системы суть дщери одного и того же легкомыслия, то, очевидно, что самый спор о том, которая из них глупее, есть спор праздный и несостоящий разработки.

Говорят, будто в первой системе уже скрывается какой-то намек на мысль. что она заставляет своих последователей заботиться о каких-то укреплениях и вообще проводить свой путь зигзагами (это — дескать, требует до известной степени работы мозгов). Но, по-моему, эти свойства не придают еще прелести системе, а только причиняют головные боли, которые, в свою очередь, не исключают элемента легкомыслия, а лишь порождают особенный вид его — легкомыслие с мигренью.

II

Второй жизненный тезис, выработанный нашим легкомыслием, служит естественным придатком к первому. Ежели первый говорит: «сначала всё уступи, а потом всем пользуйся», то второй прибавляет, «п о л ь з у й с я , н о т а к , ч т о б ы н и к т о н и ч е г о н е з а м е т и л ».

Наша страсть к секретному житию как нельзя полнее сказалась в этих двух житейских правилах. Мы очень часто обманываем и действуем потихоньку совсем не ради какой-нибудь корыстной цели, а просто в видах испытания, авось-либо никто не заметит. Для чего нам это нужно — один бог знает; но несомненно, что в этом отношении мы самые сущие спартанцы, которым, как гласит история, смолоду внушали, что воровать — отчего не воровать, но попадаться — упаси боже!

Еслиб вас пригласил кто-нибудь обедать и формулировал свое приглашение так: прошу ко мне обедать, но предупреждаю, что вы должны так отобедать, чтобы я этого не заметил — вообразите, как были бы вы удивлены⁶. Но удивлению вашему, конечно, не было бы пределов, еслиб обед был устроен всенародный, еслиб во время его на вас были устремлены тысячи глаз, и вам все-таки предстояло бы исполнить этот обряд по секрету. Ведь это гораздо мудренее, чем даже, например, проглотить втихомолку шпагу или секретно держать в сжатой руке раскаленные уголья! В последних случаях требуется только известная степень душевного воспаления, в первом — совершенная бессмыслица: отсутствовать, присутствуя. В виду такого требования, я даже начинаю понимать, почему мы, русские, всегда обнаруживали и обнаруживаем столь явное пристрастие к фокусникам и притворщикам, почему представления этого рода неизменно привлекают толпы зрителей. Мы просто видим в их действиях повторение или преобразование того, что на каждом шагу происходит с нами на практике. — А! ты проглотил шпагу — знаю! Я давеча проглотил две. А! ты сварил в шляпе яичницу — знаю! Я давеча не в шляпе, а у друга сердечного на голове уху сварил — и он этого не заметил! Одним словом, не удивишь и не обрадуешь нас ничем!

Быть и в то же время не быть; быть видимым и в то же время быть невидимым; двигаться — и оставаться без движения... Вот те геркулесовы столпы легкомыслия; до которых никогда не могли достигнуть ни афиняне, ни французы, и до которых мы достигли без малейшего напряжения.

Да; это своего рода грани; но ежели вы спросите меня: возможно ли быть блаженным при такой степени легкомыслия? я отвечу: да, только при такой степени и возможно быть совершенно блаженным. Примешайся тут с булавочную головку здравого смысла — всё дело погубило бы несомненно и безвозвратно. Этого мало: не только блаженствовать, но даже жить можно.

В то памятное время, когда мы процветали под сению крепостного права, не мало шаталось по деревням беспардонных помещиков, которые, будучи снедаемы либерализмом, только о том и тужили, как бы провести сквозь мужика какое-нибудь преднамерение или предначертание. Форма для этого была в то время самая удобная: в ней укладывались и благие стремления, и свирепые; и детские розги и взрослые: вдоволь было места для всяких свобод. Трудность только в том заключалась, как бы таким манером провести известное преднамерение, чтобы, с одной стороны, все сейчас почувствовали, а с другой стороны, никто бы ничего не заметил, или, иными словами: чтобы все пользовались, но никто не воспользовался. Тогда еще никто не видел в этих разъяснениях признаков легкомыслия, а остерегались только, как бы впоследствии не вышло каких-нибудь грамматических недоразумений.

Много было представлено в то время на соискание разных полезнейших проектов; много было таковых и в исполнение приведено...

Подобно другим отечественным либералам, заразился этою язвою и друг мой, Андрюша Гнусиков. По Невскому ли, бывало, идет, у Дюна ли трапезует, в танцклассе ли благодушествует — всё думает: непременно отмоучу

штуку. Мало того: подружился с Вс. Крестовским, в Вяземский дом ночевать ходил, посещал конную площадь, наблюдал, как секут меньших братьев и даже сам, однажды, чуть-чуть в части не был высечен... И везде преследовала его одна неотвязная мысль: непременно отмочу штуку!

И вот, однажды, приходит он ко мне и молча подает сложенный на четверо лист бумаги. Развернув его, я прочитал следующее:

ХОЧУ — ОТДАМ; ХОЧУ — НАЗАД ВОЗЬМУ.

Сельская радость для крестьян села Гнусикова с деревнями.

А. Права

1) Всякий имеет право сообщать, изъяснять, передавать на ухо, или иным образом излагать свои мысли, с тем, однакож, чтобы сие делалось с осторожностью.

2) Всякий имеет право заявлять о своих нуждах, наблюдая только, чтобы оные были не бездельные.

3) Всякий имеет право невозбранно пользоваться свободой телодвижений, с тем лишь, чтобы таковые не заключали в себе неистовства.

4) Всякий имеет право говорить правду, лишь бы сия правда была безобидная.

5) Всякий, будучи призван на сходку, имеет право представлять оной замечания, лишь бы они были полезные.

6) Всякий, будучи приглашен для наказания, имеет право приносить оправдания, которые и приемлются, буде найдены будут заслуживающими уважения



«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ
ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «старой
бабы»

Акварельный рисунок худ. Кукры-
никсы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва.

и 7) Всякий имеет право снять с отданного ему [в пользование] поля хлеб, буде таковой уродится.

Б. Обязанности

— Ну... там... как обыкновенно... сказал Андрюша, прерывая меня: — что? как тебе кажется? ⁷

— Хорошо... Только знаешь ли что, душа моя? прибавил я, спохватившись: — этот седьмой пункт... как-то... как будто... Хорошо ведь, как он не уродится? а ну, как уродится? Как бы тут не было... недоразумений каких...

Андрюша задумался.

— Так ты думаешь, что этот пункт лучше редактировать так: «всякий имеет право снять с отданного ему в пользование поля хлеб, буде таковой не уродится?»

— Да.... нет, не то... Этак тоже будет, пожалуй, неловко... Я думаю, душа моя, вовсе оставить этот пункт... Или вот что: не отнести ли его к «обязанностям»?

— И прекрасно! действительно, какое же это право! Отлично! Ну, а в прочих частях как?

— Бесподобно. С одной стороны, всё сполна, с другой стороны, бесполезные ограничения... чего еще нужно!

Андрюша весь вспыхнул; лицо его озарилось каким-то священным огнем.

— Только вот что еще, продолжал я: — подумай, душа моя, не слишком ли ты себя обездоливаешь?.. Не слишком ли ты связываешь себе руки? Рассуди! Ведь это... как бы тебе сказать... Ведь это... почти конс...

— Ну, об этом позволь мне знать самому... об этом я много думал! прервал он меня твердо, и от каплява чувств чуть-чуть не поперхнулся.

Тут он рассказал мне всё; как он ночевал в доме Вяземского, как болел сердцем на конной площадке, как сам, однажды, едва не был высечен, и как, наконец, созрела-таки у него в груди «сельская радость».

— Я знаю, говорил он мне: — что они будут неблагодарны! Но я решился... Я готов вынести всё! Даже клевету!! даже обвинение к революционной пропаганде.

— Но все-таки, мой друг, не лишнее, ах! как не лишнее быть осторожным! Не приноси жертвы не по силам, убеждал я: подумай! есть ли у тебя верный человек, который мог бы на месте наблюдать, чтоб эти права... чтоб эта «сельская радость» enfin...

— О, на счет этого я могу быть спокоен. Там у меня есть Иван Парамоныч... Он...

Андрюша сжал при этом свой кулак так выразительно, что можно было подумать, что у него в этом кулаке замерзла возжа.

Когда он ушел от меня, я долго не мог образумиться.

— Каков! думал я! каковы люди-то у нас народились! и что ж растут себе, как крапива, где-нибудь подле забора, и никто-то их не знает, никто-то об них не слышит. А кабы собрать их всех, да в кучу...

Прошло с полгода после этого разговора, и я уже успел позабыть о гнусиковской сельской радости, как случай привел меня в самое святилище вольномыслия, то-есть к Андрюше в имение.

Однажды утром, из окна барской усадьбы я увидел перед домом «гнусиковского общественного управления» большую толпу. Спрашиваю: что это такое? отвечают: гнусиковское народное вече. — Ну как же не взглянуть на вече!

— Стало быть, у тебя оно в ходу? спросил я моего друга.

— У меня, mon cher, это всё в порядке, отвечал он, любясь, вместе со мною, зрелищем размахивающей руками толпы: — у меня ничего по имению, ничего без них не делается: обо всем они должны свое слово сказать. У меня, душа моя, по старинному: я «приказал», а выборные гнусиковской земли «приговорили». Как в Новгороде... или то бишь в Москве!

— Ну а седьмой пункт.. помнишь?

— Biffé! *

Мучимый любознательностью, я осторожно подошел к толпе, чтоб не спугнуть ее своим появлением и не помешать выборным людям гнусиковской земли свободно выражать их мысли и чувства. Но, увы! вече уже давно подходило к концу, и я мог слышать лишь заключительные слова речи, которую только что произнес Иван Парамоныч:

— Свины вы! рожна, что ли вам еще надобно! Право, прости господи, свиньи! Барин вас милует, а вы и того... на дыбы сейчас! Я-ста, да мы-ста! Пошли вон, подлецы!

Вече начало медленно расходиться, но через два часа перед приятелем моим стоял Иван Парамоныч и докладывал следующий приговор: «лета 18** мая—дня, я, помещик и государственный службы коллежский ассессор, Андрей Павлов Гнусиков, приказал, а выборные гнусиковской земли приговорили: имели мы рассуждение о том, что для пополнения запасных хлебных наших магазинов собирается ежегодно со всех гнусиковских мирских людей хлебная пропорция, но как сие неудобно, а потому постановили: ввести промеж себя общественную вспашку, для чего определяем» и т. д. и т. д.

— Однако, ведь они, mon cher, совсем этого не желают! вступился было я.

— Mais laissez donc, laissez donc! ** замахал руками мой либеральный друг, смотря на меня уже с некоторым негодованием.

— Нешто они что понимают! прибавил от себя Иван Парамоныч, с возмущительным безмязежием практика.

Но я не успокоился и продолжал делать наблюдения, потому что в то время меня еще интересовали и гнусиковские начинания, и гнусиковская ширина взглядов, и гнусиковские светлые надежды. Да и костомаровские «народоправства» были еще у всех в свежей памяти.

Увы! Я должен сказать правду, что мало утешительного вынес я из этих наблюдений! Во-первых, я удивился, что выборные, занимавшие должности в гнусиковском «общественном управлении», проводили время собственно в том, что топили печи в доме управления и поочереды там ночевали, совокупляя таким образом в своем лице и должности сторожей. Во-вторых, я узнал, что они не только не гордились честью участвовать в гнусиковских делах, но даже положительно тяготились ею.

— И для чего только нас держут! сказал мне однажды один из них, внезапно обнаруживая какую-то тоскливую доверчивость.

— Как для чего, мой друг (защитникам гнусиковских интересов я всегда говорил не иначе, как «мой друг» или «голубчик»)? Как, для чего? Ведь вот вам теперь дал Андрей Павлыч правд...

— Правд-то?

— Ну да... права... Как же ты, голубчик, не понимаешь этого?

Заседатель от земли смотрел на меня, выпучив глаза.

— Ну, сказал он.

— Ну да, права, повторил я, но голос мой внезапно оборвался, потому что я почувствовал, что мне стыдно.

* Вычеркнут.

** Ах, оставьте, милый, оставьте!

— А Иван Парамоныч? — спросил заседатель от земли.
Я смешался еще более.

«Однако, вы-таки бестии!» — подумал я, и на первый раз так на этом и порешил, что бестии; однакож, не потерял надежды, что когда-нибудь, современем, «бестии» все-таки придут в себя и поймут, что нельзя же, наконец, не оценить.

Но мне не пришлось этого дожидаться. Не дальше, как через полгода, я встретил Андриюшу в Петербурге и, натурально, сейчас же обратился к нему с вопросом:

— Ну, что, как «права»?

Петруша (sic) махнул рукой.

— Ужели? воскликнул я.

— Biffés, — ответил он.

Признаюсь я так мало был приготовлен к такому ответу, что готов был даже обвинить моего друга в недостатке энергии, в отсутствии инициативы...

— Mon cher! не обвиняй меня! — сказал он мне кротко.

— Да нет, душа моя! Это была твоя обязанность! Ты должен был идти вперед! искоренить предрассудки! истребить невежество, грубость!

— Нельзя, отвечал он мне самым решительным тоном: — они не созрели!

И вслед затем он рассказал мне трогательную историю своих усилий и их непонимания. Оказалось, что он, с своей стороны, дал им — всё, от них же требовал только, чтобы они платили исправно оброк и слушались Ивана Парамоныча.

— И... и бога бы за меня молили! прибавил он взволнованным голосом.

Напротив того, они отвечали, что им не надобно ничего, а вот кабы Ивана Парамоныча от них убрали, так это точно, что они стали бы бога молить.

— Ну, представь себе: один только представитель моих интересов и остался — и того убери! укоризненно заключил мой собеседник.

— Бестии! произнес я решительно.

— C'est le mot! *

— Что же ты сделал?

— Велел Ивану Парамонычу действовать решительно и неуклонно!

Тем и покончилась благонамеренная затея моего друга.

Рассматривая ее внимательно, я должен сознаться, что поступок моего друга был очень рискован и смел. Уж одно то, что человек этот избрал своим девизом слова: «хочу — отдам, хочу — назад возьму», доказывает, что он решался на многое. «Хочу — отдам» — шутка сказать! Поймите, что ведь тут уже есть глагол «отдать», и что если бы за ним не следовал непосредственно корректив в виде «хочу — назад возьму», — то кто же знает, что из этого могло бы произойти!

Тем не менее, Гнусиков изнемог...

Это вечно печальная и никогда не кончающаяся история русского человека, у которого в голове засела затея! Наши реформаторы гибнут и на заре дней, и на склоне дней, гибнут в ту самую минуту, когда всё готово, все нарывы назрели, и стоит только со всех сторон давить, чтобы...

Почему они гибнут? почему, например, в данном случае погиб реформатор и либерал Андриюша Гнусиков?

* Вот настоящее слово.

«ГОРОД ГЛУПОВ» В МОСКОВСКОМ
ТЕАТРЕ САТИРЫ

Эскиз костюма и грима «Василия
Вайбакова»

Акварельный рисунок худ. Кукры-
никсы, 1932 г.

Собрание Театра Сатиры, Москва



А потому, милостивые государи, что он был не до конца легкомыслен, и что рядом с его теорией: «пользуйся, но так, чтоб никто ничего не заметил» — существует другая теория, еще более легкомысленная, а именно: ничем не пользуйся, и пусть все замечают!

Сравните обе эти теории и вы увидите, что последняя совершенно затмевает первую. Начать с того, что первая требует изворотливости ума. Ум, в каких бы размерах и формах он ни проявлялся, есть исконный враг всякого легкомыслия. Пусть даже это будет ум не настоящий, направленный к отрицанию самого себя, истинное легкомыслие все-таки не выдержит его, и непременно погибнет под бременем тех невзгод, которые принесет за собой его появление. Истинное легкомыслие чисто, как кристалл; малейшая раковина внутри делает его цену ничтожною... Ум есть беспокойство, легкомыслие — блаженство... Поймите же, наконец, милостивые государи, что ежели вы действительно желаете достигнуть блаженства, то должны принять и те средства, которые ведут к этой цели. Вы должны совсем-совсем истребить в себе всякий признак ума...

III

Третий, и едва ли не самый главный житейский тезис легкомыслия: будь счастлив и не взирай⁸.

В самом деле, чем более мы взираем, тем большую накапливаем сумму данных, которые, впоследствии, могут уготовать нашу гибель. «Взираю» — уже отчасти значит «смеаю», и даже «знаю», а кому неизвестно, что человеческое благополучие всецело заключается в неведении? О еслиб, подобно Сократу, мы знали одно: что мы ничего не знаем! Но нет, мы

находим такое знание недостаточным, мы идем далее, мы ищем какого-то действительного значения... В результате обретаем фигу, то-есть погибель.

— Не видал бы я этого вина — быть бы мне и теперь человеком! говорит, обыкновенно, пропоец, дошедший до той степени восторженности, когда мир начинает казаться дьявольским навождением.

— Не видал бы я этой книжки — спать бы мне и теперь на своей постелюшке! говорит едущий на перекладных юный философ, которого чтение книжки, по какому-то счастливому сцеплению обстоятельств, привело к познанию истины, что ничто так не образует юношество, как путешествие.

— Не видал бы я этих денег — не украл бы! говорит с своей стороны и вор, стремящийся оправдать свой поступок любознательностью.

Во всех этих случаях, и пьяница, и философ, и вор потерпели прежде всего от того, что взирали. Воззрение зажгло в них любознательность, любознательность породила желание испытать на деле. В заключение, все трое очутились в прескверном положении. И что всего замечательнее, несмотря на разницу, которая существует между упомянутыми тремя ремеслами, все они, однако, привели к результату почти однородному! Почему? — а потому просто, что в основе каждого из них один и тот же глагол «взирать».

В применении этого житейского принципа на практике могут встретиться довольно серьезные затруднения — это несомненно. Могут, например, спросить: как можно не взирать на предмет, который сам собой мечется в глаза? Согласно ли с здравым смыслом ничего не видеть, когда человек обладает зрением и глаза его не ослеплены? Но на все эти вопросы очень легко возразить целым рядом других вопросов, которых разрешение, как мы видели, не стоит ни малейшего труда. Таковы вопросы: можно ли отсутствовать, присутствуя, можно ли двигаться — и быть без движения, можно ли быть — и не быть и так далее.

Существенное в этом деле — все-таки не взирать, то-есть не соблазняться и не пробовать. Наша публицистика давно уже пропагандирует эту истину — и чувствует себя отлично, хорошо. Может быть, она думает, что занимаясь подобною пропагандою, она заговорит уши, и тем временем, что-нибудь да узрит; но такое убеждение доказывает только явнее ее легкомыслие; заговаривая уши, можно притти только к одному результату, а именно: заговорить их до того, что они будут ко всему глухи, кроме невзирания, — и тогда милости просим попробовать что-нибудь узреть!

Много рассказывает людская молва разных правдивых былин, героями которых являются люди кроткие и невзирающие. Спал Иванушко-дурачек три дня и три ночи, спал, и даже во сне ничего не видел; проснулся — ан оказалось, что он не Иванушко-дурачек, а Иван-царевич. «Счастье с неба валится», гласит народная мудрость — а валится оно, наверное, тому, кто не взирает и знает неукоснительно, что он ничего не знает. Для того, чтоб схватить счастье за хвост, совсем не нужно быть сильным по части изобретения пороха, а нужно только лечь спать, разумеючи. Тогда врата легкомыслия откроются сами собою, и на могильном памятнике того человека напишется: «сей человек, обладая необширным умом и посредственными чувствами, был почтен!»

Нельзя, однакож, сказать безусловно, чтоб эта наука была легкая. О нет, врата легкомыслия отпираются не перед всяким, и уступают не без усилий. Не взирать — не только значит не видеть, но и потерять обоняние, осязание, вкус... Какое счастливое сцепление случайностей нужно избрести, чтоб создать подобное положение! Если же этих случайностей налицо не имеется, сколько тут нужно геройства, сколько нужно продолжительного и упорного самовоспитания!

— Столь много я муки этой видел, что даже думал уродом на всю жизнь остаться! — говорил мне на-днях один из несомненных ревнителей на пути к совершенству: — однако, бог привел: усовершенствовался!

И, действительно: это был в своем роде субъект довольно любопытный, и ежели в нем еще чувствовался какой-то недостаток, то он заключался единственно в том, что субъект этот, как будто, все еще не мог опомниться от воспоминаний тех истязаний, которые он вытерпел.

«Не пытайся понять то, что тебе понять не дано», «не забывай, что выше лба уши не растут», — вот правила, которые внушались мне с детства, и которые, впоследствии, в особенности укрепило во мне чтение афоризмов Кузьмы Пруткова. С тех пор я не только не пытаюсь, но просто-на-просто ничего не понимаю, и только наблюдаю, чтоб уши мои как-нибудь не выросли сверх пропорции. Вижу, что кругом меня, что-то мечется, снует, кружится, и в сердце своем говорю: Господи! сохрани мою невинность! пошли мне глаз слепоту, языка онемение, ума оглушение и чувств помрачение! И да пребуду во веки блажен! И как только проговорю это — всё наваждение сейчас, как рукой снимет!

Но повторяю: чтобы достигнуть этого, нужно или особенно счастливое стечение обстоятельств, или геройство, а так как и то и другое не всегда являются к нашим услугам, то людское легкомыслие ухитрилось придумать другой, переходный афоризм, который до некоторой степени поправляет упомянутый выше недостаток. Афоризм этот гласит так: «взирай, но взирай с рассмотрением!» Повидимому, тут заключается логическая бессмыслица, ибо невозможно в одно и то же время быть легкомысленным и рассматривать, то-есть, все-таки отчасти рассуждать. Но в сущности, это вовсе не такое мудреное дело, как можно заключить с первого взгляда, ибо, для облегчения его, существуют такие каталоги, в которых подробно поименовываются предметы, на которые легкомыслием взирать не возбраняется. Конечно, такого рода каталоги покамест существуют еще только в сердцах легкомысленных людей, но будем надеяться... Будем надеяться, что публицистика наша, разработавшая на своем веку столько важных афоризмов, не оставит и этой важной статьи без внимания, и что современем мы получим совершенно полное руководство, которое на вечные времена обеспечит наше легкомыслие от всяких случайностей. Воображаю я, сколько разойдется изданий этого руководства в течение нескольких часов! Сколько глупцов вдруг почувствуют себя мудрецами единственно потому, что у них будет в руках книжка, которая оградит их от всяких посятельств против легкомыслия!

Теперь, по заведенному порядку, мне надлежало бы привести здесь несколько биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием, но я оставляю эту интересную работу до другого раза и спешу изложить кратко практические результаты, которые принесло наше легкомыслие и выработанные им жизненные тезисы.

Главнейший результат заключается несомненно в том, что нас никто ни в чем не застал. Это устраняет от нас всякие подозрения и вселяет к нам неограниченное доверие. Взирая на нас, всякий говорит: оставим их в покое, потому что это подлинно те самые люди, у которых мысли мелькают в голове, точно мухи в безграничном пространстве воздуха.

Второй результат — невозмутимое спокойствие совести. Совесть питается сознанием, сознание требует умственной сосредоточенности. Но когда мысль приобретает форму и свойства мухи, то ясно: и сознание, и совесть могут оставаться вполне от тревог свободными.

Оба эти результата, естественно, ведут к третьему — к долговечности. Ничто так не способствует пищеварению, не утучняет, не укрепляет нервы, как легкомыслие. Я знаю стариков, которые по три века чужих заели,

единственно благодаря тому, что их никто ни в чем не застал, и что совесть их никогда ничем не тревожилась. Знаю много таких и из молодых, которые обещают представить собой экземпляры здоровья несокрушимого. Таким образом, и маститая старость и полная бодрости юность соединяют свои усилия, чтобы показать нам: в первом случае — пример легкомысленной долговечности, во втором — надежду на оную.

Четвертый результат — величие, то-есть, апофеоз.

Не имея сзади никакой ноши, мы можем смело говорить, что наше будущее свободно, и что мы находимся в положении человека, у которого всегда под руками гладкая доска, принимающая какие угодно каракули. Пускай сомнения, тревога и тоска останутся уделом тех, чье будущее неясно и скомпрометировано прошедшим. Наше будущее принадлежит нам, потому что оно ничем не скомпрометировано назади, и ни в чем не предвидит для себя стеснения впереди. Будем же твердыми в легкомыслии, ибо в нем заключается та драгоценная творческая сила, которая утучняет тела, способствует пищеварению и придает нашим действиям тот характер восторженности, который составляет предмет удивления и зависти современников.

Посторонний наблюдатель

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Похвала легкомыслию» напечатана в «Искре» 1870 г. в №№ 6, 8 и 11 от 5 и 19 февраля и 12 марта за подписью «Посторонний наблюдатель». Подпись эта не раскрыта ни в словаре псевдонимов Карцова и Мазасава, ни в специальном библиографическом труде И. Ф. Масанова («Русские сатирические журналы», вып. I, 1911 г.). Изучая литературное окружение Салтыкова-Щедрина и просматривая с этой целью «Искру», я обратил внимание на «Похвалу легкомыслию», в которой с первых же строк заподозрела щедринское перо. Ближайшее ознакомление с сатирой обнаружило самую тесную связь ее с творчеством Салтыкова как предшествующим, так и позднейшим и не оставило сомнений в том, что псевдоним «Посторонний наблюдатель» раскрывается как М. Е. Салтыков. Доказательства этого авторства впервые приведены в моей статье «М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры»» («Ученые записки пермского гос. университета», 1929 г., вып. I); в настоящем комментарии они дополнены некоторыми новыми данными. Полностью новооткрытая сатира перепечатывается впервые.

«Похвала легкомыслию» направлена против дворянского либерализма, перерастающего в беспринципное приспособленчество, затем и в прямую реакцию. Щедрин его высмеивает дворянский либерализм, отождествляя его с той самой дворянской реакцией, от которой он на словах отмежевывался. Основными тезисами российского либерализма эпохи реформ оказались сентенции: «сначала всё уступи, дабы впоследствии всем воспользоваться» и «пользуйся, но так, чтобы никто не заметил». К этим тезисам присоединяется третий — откровенно реакционный: «будь счастлив и не взирай» (т. е. не размышляй). И если первым двум тезисам иронически предпочтены правила обывательски-благонамеренной морали: «ничего не уступай, но ничем и не пользуйся» и «ничем не пользуйся и пусть все замечают», — третий тезис пришлось ограничить с точки зрения той же морали: «взирай, но взирай с рассмотрением».

«Похвала легкомыслию» органически связана с щедринской сатирой 60-х годов — тех лет, когда, преодолев последние пережитки либерализма в собственной идеологии, Салтыков вступил в решительную борьбу с либерализмом. В «Похвале» откликаются мысли и образы «Нашей общественной жизни» (1863—1864 гг.), «Писем о провинции» (особенно двух первых 1868 г.), «Признаков времени» (особенно очерк «Легковесные» 1868 г.). С другой стороны, многое из намеченного в «Похвале» получило развитие в дальнейшем творчестве Салтыкова: в «Итогах» 1871 г., «Дневнике провинциала в Петербурге» 1872 г., в «Современной идиллии», «Пестрых письмах» и других циклах. Но особенно близка «Похвале» сказка 1885 г. «Либерал». Написанная уже в иной исторической обстановке после запрета «Народной Воли», в разгар победоносщины, она усиливает, спускает то, о чем в 1870 г. можно было говорить сравнительно мягко. Тезисы об уступках превращаются здесь в три правила общественного поведения либерала: «по мере возможности», «хоть что-нибудь» и наконец «применительно к подлости», после чего либерал получает заслуженный плевком в лицо. Эту именно сказку использовал В. И. Ленин в борьбе с народнической публицистикой — в статье 1894 г. «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» (т. I, стр. 162).

Если сказка «Либерал» дает «эволюцию российского либерала» в предельно-метких и обобщенных образах и формулах, при чем задевает не одно либеральное дворянство, но и оформившийся к этому времени мелкобуржуазный либерализм и оппортунизм, то история этих образов и формул в творчестве Салтыкова естественным образом приобретает особый интерес. В этой истории особое место принадлежит «Похвале легкомыслию» — этому широко развернутому сатирическому фельетону на тему о судьбах российского либерализма (в данном контексте в первую очередь — дворянского). Несправедливо забытая сатира Салтыкова должна быть извлечена из забвения.

Заглавие сатиры связывается с первой фразой «Хищников» (1869 г.): «Пою похвалу силе и презрение к слабости». Прототипом этих иронических «похвал» была конечно знаменитая «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Парадоксальная защита враждебной точки зрения — для окончательного ее разоблачения, по методу «приведения к нелепости» — характерна и для позднейшего Салтыкова (ср. «Круглый год», «Современная идиллия», «Письма к тетеньке»).

² «Падение Афин» — ср. в «Глуповском распутстве» (1862 г.) параллель между гибелью Рима и гибелью Глупова. «Глуповское распутство» в свое время напечатано не было; таким образом вопрос о возможности подражания ему отпадает. Ср. также в «Письмах к тетеньке»: «Вспомните древних римлян: заблуждались они, заблуждались, а что из того вышло? сначала падение западной римской империи, а потом и восточной».

³ «Вытаскивание бирюлек» — обычный образ салтыковской сатиры. Он встречается в аналогичном смысле в «Наших глуповских делах» (1861 г., т. II, стр. 53) и затем — в «Дневнике провинциала» 1872 г. (т. VII, стр. 372), «Недоконченных беседах» 1873 г. (т. VI, стр. 197), «Письмах к тетеньке» 1882 г. (т. XI, стр. 471), «Пестрых письмах» 1884 г. (т. VI, стр. 8); все ссылки по изданию А. Ф. Маркса.

⁴ «Изобретение пороха», «открытие Америки»: ср. в «Наших глуповских делах»: «не может ни изобрести пороха, ни открыть Америку». «Распоряжение об открытии Америки» дает директор департамента в «Господах ташкентцах»: «Любезный друг, я желал бы, чтобы вы открыли Америку». Остроты об «открытии» и «закрытии» Америки встречаются также в «Характерах» (1860 г.) и в рукописных вариантах «Сказки о ретивом начальнике» (1882 г.).

⁵ Два противоположных тезиса легкомыслия имеют тонкие отличия друг от друга, связанные с оттенками в идеологии и поведении реальных объектов сатиры. При всем том главный яд сатиры закладывается в отсутствии существенной разницы между «тезисами»: «пользоваться» (подразумевается — «гражданскими и политическими правами») всё равно не придется ни «уступающим» либеральным политикам, ни аполитичным обывателям (которым и «уступать»-то нечего). Это сближает «тезисы легкомыслия» с другими примерами мнимо-противоположных сентенций в шедриной сатире. В очерке «На заре ты ее не буди» (1864 г.) консерваторы говорят: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай», «красные» возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед». В гл. 4-й «Экскурсий в область умеренности и аккуратности» в том же смысле сопоставляются сентенции: «доверься, но доводи до сведения; предоставь, но смотри в оба»; и более «превосходные»: «доводи до сведения, но доверься», «смотри в оба, но предоставь».

⁶ Приглашение к обеду с условием — отобедать незаметно — повторено в следующем же 1871 г. в 4-й главе «Итогов», в диалоге между Феденькой Кротиковым и «автором». На пожелание Кротикова: «пусть размышляют, пусть обмениваются мыслями, но так, чтобы никто этого не заметил» — «автор» возражает: «Ведь это все равно, что если б твой будущий градской голова позвал тебя на пирог и требовал, чтоб ты таким образом ел, чтобы никто этого не заметил» (т. X, стр. 234).

⁷ Эпизод о конституции для крепостных, введенный Андрюшей Гнусиковым, представляет собою вариант аналогичного эпизода из очерка «В деревне», напечатанного в «Современнике» 1864 г., № 8 (без подписи). Прототип Андрюши Гнусикова — Вася Чубиков. Оба эпизода очень близки, вплоть до повторения тех же выражений (например «с'est le mot»). Мотив помещичьей конституции был впоследствии использован Терпигоревым в «Осуждении». Самый текст конституции имеет в творчестве Шедрина несколько параллелей: законодательство Беневоленского, «Устав Вольного Союза Пенкосинателей» в «Дневнике провинциала» 1872 г., проекты Феденьки Кротикова в «Помпадуре борьбы» в 1873 г. и особенно «Устав о благопристойном обывателе» в своей жизни поведении» в 8-й главе «Современной идиллии» (1878 г.). В этом уставе каждая «свобода» обставлена теми же оговорками, что и в гнусиковской конституции.

⁸ «Будь счастлив не взирай» — ср. «будь счастлив и молчи» в «Капунах» 1862 г. (в свое время не напечатанный).

⁹ Выше лба уши не растут. О «пресловутых поговорках», резюмирующих обывательскую философию, Салтыков говорил еще в 1869 г. в «Хищниках», и с тех пор ироническое цитирование пословиц и поговорок, враждебных по своему классовому содержанию, становится его излюбленным приемом. В ряду этих пословиц («сильным не борись», «по одежке протягивай ножки», «всяк сверчок знай свой шесток» и т. п.) — пословица «выше лба уши не растут» выделяется как по количеству упомина-

ний, так и по композиционной роли ее в щедринском творчестве. В двух произведениях — «Чужую беду руками разведу» (1877 г.) и «Вяленая вобла» (1884 г.) — эта пословица играет как бы организующую роль. Кроме того она упоминается в «Столпе» 1874 г. (т. V, стр. 122), «Дворянской хандре» 1878 г. (т. X, стр. 323), «За рубежом» 1880 г. (т. VIII, стр. 199).

¹⁰ Неосуществленный замысел «биографий знаменитых мужей, которые наиболее прославились своим легкомыслием» ср. с упоминанием о мужах, которые «наиболее прославились неуклонностью» — в одновременной «Истории одного города».

Приведенными параллелями не исчерпываются все сближения, которые можно сделать между «Похвалой легкомыслию» и остальным творчеством Салтыкова, но для доказательства авторства Салтыкова достаточно и приведенных. Идеология и тематика сатиры, ее композиция и стиль как в мельчайших деталях, так и в совокупности, воспроизводят с совершенной очевидностью художественную систему Салтыкова, его сатирический метод со всеми специфическими для него особенностями. «Похвала легкомыслию» оказывается ближайшим образом связанной как с предшествующим творчеством сатирика, при том — как с его подписанными, так и неподписанными вещами и даже, в отдельных случаях, с вещами, вовсе не напечатанными. Наконец, эпизод об Андрюше Гнусикове представляет собою перенесение целых страниц из более ранней сатиры в позднейшую. Все это вместе взятое заставляет считать авторство Салтыкова бесспорным, хотя внешних аргументов для доказательства авторства нет: рукопись сатиры неизвестна, и в переписке Салтыкова и его современников никаких упоминаний о «Похвале легкомыслию» до сих пор не обнаружено.

Вас. Гиппиус